

СВЕТЛАНА ФИЛЮШКИНА

Национальный стереотип в массовом сознании и литературе (опыт исследовательского подхода)

Теоретическая мысль, обращенная к проблеме национальных отношений в современном мире, к самому представлению о сущности нации и связанных с нею разнообразных понятий, в последние 15–20 лет заметно активизировалась. Примечательна возросшая сосредоточенность исследователей на значении субъективного фактора, то есть на том, как нация воспринимает саму себя, какую роль в осознании людьми своего национального единства играют *вера и воображение*: не зная, естественно, всех сограждан в своей стране, индивид убежден, что они подобны ему!

Характерно название ставшей очень популярной книги Бенедикта Андерсона о Соединенных Штатах — «Imagined Communities», дословно «Воображенные сообщества» (полный перевод заглавия, в котором время причастия изменено, звучит так: «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма», 1983). Сквозной нитью через монографию Б. Андерсона проходит мысль о том, что нация — это «способ» связывать в целостном *восприятии* (выделено нами.— С.Ф.) пространство, время и человеческую солидарность. Проблема пространства — это осознание нацией ее границ, перемещения внутри освоенной территории; проблема времени связана с языком, который сводит в сознании нации ее настоящее и прошлое; солидарность предполагает некую единую волю и устремленность, опирающиеся на общие, субъективно переживаемые идеи, нравственные позиции.

Этот акцент на ведущей роли *самосознания* нации как чего-то единого заявляет о себе в высказываниях и сторонников конструктивистских теорий (к их числу и относится Б. Андерсон), и этницистов (примордиалистов), для которых при определении нации основными критериями являются ее исконные этнические характеристики, ее неизменная, в течение веков «длящаяся сущность». В результате привычные формулировки, такие как «национальное своеобразие», «национальный характер», при обсуждении проблемы нации и национализма вытесняются иными — «национальная идентичность», «национальный стереотип». Первые, как известно, претендовали на безусловную объективность, на фиксацию неких научно обоснованных данных о той или

иной нации. Вторые принимают во внимание то, что мы назвали «субъективным фактором», проявляющимся в желании субъекта, каковым является вся нация (или диаспора, или некая «мы-группа», или индивид), осознать свою *инаковость* по сравнению с другим, чужим, нередко даже враждебным. Поднимаемая проблема национальной идентичности, исследователь должен взглянуть на нацию не со стороны, а изнутри, показать, *что значит* быть членом данного национального сообщества, *что значит* смотреть на мир глазами этого сообщества, через призму его ценностей.

Проблема национальной идентичности тесно связана с проблемой национального стереотипа. Как и всякий стереотип, он является своеобразным социальным конструктом, способствует ориентации индивида в жизни, выступает источником мотивации общественных действий последнего. Стереотип, в том числе национальный, тесно связан с языковым фактором и, подобно национальной идентичности, имеет дискурсивную природу. Вспомним, что дискурс в его наиболее широком понимании — это отложившийся и закрепившийся в языке способ упорядочивания действительности, способ видения мира, причем дискурс не только отражает мир, но и проектирует его, участвует в его создании.

Свою особую, вербализованную реальность создает и национальный стереотип, отражающий представления нации о самой себе или о другой, как правило, очень пристрастные. Эти представления укоренены в прошлом, имеют коллективный характер и наследуются личностью благодаря воспитанию, влиянию среды и общественного мнения. Исследователи выделяют в стереотипе три составляющих: познавательную, эмоциональную и прагматическую. Последняя имеет четыре функции: объединяющую, оборонительную, функцию, связанную с выработкой определенной идеологии, и политическую¹. Эмоциональность стереотипа обусловлена тем, что он всегда несет в себе оценку — положительную или отрицательную. Она может распространяться и на свою, и на другие нации, при этом всегда является обоюдоострой, характеризуя не только того, кто является объектом стереотипных суждений, но и того, кто такой стереотип создал.

Главное в стереотипном мышлении — стремление отделить себя и «своих» от «других», свои национальные признаки от тех, которые якобы принадлежат «аутсайдеру». Примечательна самохарактеристика, которую давали себе поляки в XVII веке: «Мы не хвастливы, как немцы, не жестоки, как москальи, не бесцеремонны в использовании яда, как шведы, не воруем, как венгры, не презираем иностранцев, как англичане, не мстительны, как шотландцы».

Этот пример взят нами из сборника материалов, изданных в 1995 году Краковским международным культурным центром и отразивших работу прошедшего в 1993 году симпозиума, который был посвящен проблемам национального стереотипа. По нашему мнению, сборник интересен прежде всего своей «эмпирикой»: в нем содержатся сведения о содержании различных национальных стереотипов; в выступлениях участников симпозиума приведены многочисленные факты того, *как* воспринимают друг друга различные европейские нации — речь идет преимущественно о странах Восточной Евро-

¹ Stereotypes and Nations / Ed. by Teresa Walas. Cracow: International Cultural Centre, 1995. P. 15.

пы, хотя отчасти затронут и Запад. Характерна структура сборника: вслед за рассказом конкретного участника симпозиума о том, каков стереотип, скажем, чехов в глазах поляков, следует материал, отражающий восприятие поляков чехами; мы узнаем, как венгры воспринимают словаков, а словаки – венгров, поляки – французов, а французы – поляков и т.п.

Материалы сборника еще раз убеждают нас в том, что национальный стереотип – богатая познавательная структура, дающая повод для размышлений и даже для эмоциональных реакций. Привыкнув к обвинениям русского народа в ксенофобии (в общем-то небеспочвенным), с некоторым удивлением, осознаешь, что эта черта свойственна многим народам, на протяжении исторического развития всегда подчеркивавшим свою несомненно большую «цивилизованность» по сравнению с «восточным соседом». Материалы сборника свидетельствуют, что ксенофобия – черта общечеловеческая, до сих пор определяющая отношения, особенно в странах бывшего социалистического лагеря².

В стереотипных оценках, которыми обмениваются народы, возникают любопытные нюансы. Немало случаев взаимного неприятия. Так, например, украинцы и поляки равны в создании резко негативных образов друг друга, образов, имеющих глубокие исторические корни. С открытой неприязнью относятся поляки к чехам и русским. Зато у русских, как убедительно показывает в своей статье Константин Душенко, отношение к Польше всегда было гораздо более сложным. Антипольские настроения были связаны с конкретными событиями (польской интервенцией в начале XVII века, войной 1920-х годов), но последующими поколениями они воспринимались как своего рода факт прошедшей истории; свой вклад в негативный образ Польши вносила официальная пропаганда – в период восстания 1863 года, в соответствующие периоды жизни советского государства. В то же время в российском обществе в противовес этой пропаганде активно утверждали себя и в XIX, и в XX веках полонофильские устремления, связанные с развитием либеральной мысли. А русская литература создала обаятельные образы польских женщин: Н.С. Лесков в «Воительнице», Л.Н. Толстой в рассказе «За что?», в советское время – Л. Зорин в пьесе «Варшавская мелодия»; мотив любви к польской красавице разрабатывали и А.С. Пушкин, и Н.В. Гоголь, раскрывая моральную неоднозначность ситуации (Марина Мнишек и самозванец, паночка и Андрий), но избегая уничижительных и оскорбительных оценок героинь (не говоря уже об исполненном сострадания изображении судьбы Марии в «Бахчисарайском фонтане»).

Любопытны факты, касающиеся отношения к полякам чехов, отнюдь не стремящихся платить негативно воспринимающим их соседям стопроцентно той же монетой. С одной стороны, польский стереотип в глазах чехов – это стереотип торговца, спекулянта, жулика, но с другой – это романтически окрашенный образ поляка-рыцаря, сражающегося во имя чести и Бога, смелый всадник, скачущий с саблей на танки³. Подобный стереотип выделяет такую черту поляков, как противостояние враждебному режиму – и в прошлые века, и в период деятельности «Солидарности».

² Ibid. P. 53.

³ Ibid. P. 49.

Как показывают собранные в книге факты, рождение стереотипа, преимущественно негативного, обусловлено историческими причинами, при этом стереотип сохраняется (иногда на столетия!), даже когда эти причины исчезают и общество о них забывает. Порой раскопать их может только придирчивый исследователь прошлого. Так, неприязненное отношение поляков к чехам сложилось еще в XVIII веке, когда после первого раздела Польши именно онемеченные чехи на части ее территории, отошедшей к Австрии, составили ряды чиновников, в том числе сборщиков налогов, что вызывало возмущение польской знати. К тому же чехи в разное время выражали свои симпатии к русским и были сторонниками идей панславизма. По словам автора статьи А. Кроха, поляки не пытались хоть как-то проанализировать причины прорусских настроений чехов (был ли здесь политический расчет или смутные надежды на лучшее) — симпатии к России, которую поляки не любили, массовое сознание объясняло просто «порочностью» чехов⁴. Как видим, в возникновении негативного стереотипа решающую роль может сыграть и иррациональное начало. Оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда другого осуждают уже за то, что он — другой, ему приписывают многочисленные дурные качества, на фоне которых можно с большей уверенностью утвердить свой собственный положительный образ.

Обратим внимание и на такой момент. Народ, угнетаемый соседом-агрессором, неизбежно создает его отрицательный образ — это имеет психологическое оправдание. Но нередко и нападающая сторона активно утверждает негативный стереотип того, кого стремится завоевать, — опять-таки в целях морально-психологического обоснования своих действий. Так, еще в начале XVII века, задолго до разделов Польши, но в период ее военной интервенции против Москвы, в воображении поляков бытовало следующее представление о русских: они порочные, дикие, жестокие, глупые, предатели, пьяницы... Следовательно, их земли можно захватить?

В связи с проблемой явно тенденциозных в нравственном плане стереотипов в материалах Краковского сборника возникает вопрос о соотношении стереотипа и мифа. Миф рассматривается как предшественник стереотипа. Существуют попытки адресовать понятие мифа к скрытому, до конца не понятому природному началу, характеризующему «другого», а в стереотипе подчеркнуть наличие политического момента, связанного с восприятием того или иного народа⁵.

На наш взгляд, наиболее глубоко к проблеме соотношения национального мифа и национального стереотипа подходит немецкий ученый Ф.Б. Шенк⁶. Хотя в его трактовке мифа можно увидеть черты, характерные и для стереотипа (миф — это средство коллективной авторефлексии, средство конструирования национальной идентичности, он организует центральный элемент дискурса «свой — чужой»), именно Ф.Б. Шенк выявляет принципиальное различие этих понятий. Оно состоит в том, что стереотип по своей

⁴ Ibid. P. 47.

⁵ Ibid. P. 128.

⁶ См.: Шенк Ф.Б. Политический миф и коллективная идентичность. Миф Александра Невского в Российской истории (1263–1998) // *Ab Imperio*. Казань. 2001. № 1–2.

природе консервативен, он может жить на протяжении столетий, оставаясь неизменным или слегка «подправляясь» новой эпохой; миф же меняется в зависимости от времени и идеологической потребности общества или даже какой-либо его части («мы-группы»).

Ученый иллюстрирует свои положения и дает примеры «мы-групп», обращаясь к фигуре Александра Невского, многократно менявшийся миф о котором имеет трехсотлетнюю историю. Самый ранний мифологический образ князя сформировался в среде монастырской общины, которая ухаживала за его могилой и утверждала представление о нем как о *местном святом*, творящем чудеса, но в пределах довольно ограниченного пространства. Затем его слава распространилась уже на все Владимиро-Суздальское княжество, а потом (по церковным каналам) и на Москву и принадлежащие ей земли. Стал формироваться политический миф об Александре Невском как об основателе династии московских князей Даниловичей. В московский период сакральная интерпретация личности князя вытесняется воспеванием его *земных дел как правителя*. Это проявляется и в изображении его на иконах и фресках уже в княжеской мантии. Редкие попытки в последующие века сохранить на иконах монашеское одеяние Невского пресекаются в начале XVIII столетия специальным указом Петра Первого, который делает князя инструментом своей политической деятельности.

При Петре политический миф о Невском служит уже новому проекту коллективной идентичности, связанному с потребностями империи. Образ князя призван соответствовать идеалу императорского трона нового, западного типа. Интересны наблюдения Ф.Б. Шенка над дальнейшей судьбой образа Александра Невского и формированием новых мифов, в соответствии с которыми в князе видели то воплощение воинских подвигов, то защитника отечественной культуры от «агрессивного католического Запада» и от «нецивилизованных монголов», то талантливого полководца, хранителя русских земель, противостоявшего немецкому «*Drang nach Osten*» (вспомним фильм Сергея Эйзенштейна, созданный незадолго до войны). От себя добавим, что в 1990 годы князь был «мобилизован» на борьбу со СПИДом, о чем свидетельствовали соответствующие плакаты, например, на улицах Минска!

На наш взгляд, ярким примером политического мифа может служить и переживший множество вариантов миф о Жанне д'Арк, осужденной церковью на сожжение в 1431 году, спустя два с половиной десятилетия реабилитированной, а в XX веке канонизированной Ватиканом. Жанна пережила и негативное отношение к ней в эпоху свержавшей старых идолов Великой французской революции, и возрождение как символ воинской славы во время правления Наполеона Бонапарта; в ней видели то жертву религиозного фанатизма, то, наоборот, знамя католической церкви. В конце XIX века, в период так называемого «дела Дрейфуса», националистические круги превратили Жанну в идеал чистокровной патриотки французенки, смело возражавшей на суде епископу Кошону, который якобы, как и Дрейфус, был евреем и потому осудил девушку на смерть. В годы иноземных нашествий Жанна воспринималась как воплощение не умирающего французского духа, а президент Миттеран в одной из своих речей связал с образом Жанны уже дух всей «свободной Европы»!

Имея дискурсивную природу, национальный стереотип и миф обретают благоприятную сферу бытования в художественной литературе, и здесь для исследователя предстает почти безбрежное поле. Встает вопрос о роли литературы в закреплении стереотипов и мифов или, напротив, — в полемике с ними; о разных формах использования стереотипных образов для реализации художественного сознания автора, утверждения в произведении его концепции мира и человека.

Не претендуя на сколько-нибудь полное освещение этих проблем, попробуем поделить некоторые наблюдения и соображениями.

Очевидно, что дань отрицательным национальным стереотипам, негативным образам «другого» отдает прежде всего массовая культура, особенно в текстах самого низкого жанра — в анекдотах. Подлинный фольклор и серьезная литература используют негативные национальные стереотипы в идеологических целях — в тех случаях, когда между нациями существует длительное противоборство, как, например, между поляками и украинцами; однако и здесь образ ленивого, глупого, но по-волчьи свирепого украинца и жестокого, лицемерного насильника поляка мы находим прежде всего в произведениях писателей третьего и четвертого ряда, наиболее подверженных сиюминутной идеологической обработке.

Правда, дань пристрастному изображению — соответственно поляка и украинца — отдали и авторы явно иных масштабов: Тарас Шевченко и Генрик Сенкевич. Но здесь необходимо отметить довольно серьезное обстоятельство: это изначально полярная позиция писателей в оценке самих исторических событий — многочисленных военных столкновений между польскими магнатами и населением украинских земель. То, что для Шевченко было законной борьбой целого народа за свою независимость (и справедливость объективно была на его стороне), в глазах Сенкевича, опиравшегося на данные польских историков, было нарушением столь же законных прав Речи Посполитой. Отстаивая свои позиции, оба автора так или иначе привлекали стереотипные образы врага, отражавшие массовое сознание.

В то же время нельзя не отметить известной сложности в отношении настоящего художника к готовым стереотипам. Постараемся показать это на примере романа Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», в котором писатель резко критически изображает восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Признавая, что поведение отдельных польских шляхтичей на Украине отличалось грубостью и произволом по отношению к местному населению, Сенкевич спешит осудить и Хмельницкого; он усматривает в его действиях отнюдь не патриотический порыв, а проявление низкой натуры, личной корысти, патологической жестокости.

При этом акцент делается на том, что главной стихийной силой восставших была примитивная, кровожадная чернь, которой безразлично, кого крушить, грабить, палить огнем. Ей, как Хмельницкому и его сподвижникам, противопоставлены идеализированные образы противников, прежде всего князя Иеремии Вишневецкого и его близких друзей и соратников — и исторических лиц, и вымышленных персонажей. Читатель, конечно, понимает, какие национальные силы пришли в столкновение, но сам автор (и это примечательно!) акцента на национальном противоборстве не делает и в ис-

пользовании негативных стереотипов врага довольно осторожен, зато охотно отдает дань романтизированному образу поляка-рыцаря, патриота, мужественного воина. Но и здесь налицо весьма примечательный момент.

Сюжетная интрига романа связана с судьбой двух влюбленных — благородного, храброго пана Скшетуского, наместника (командира) хоругви (одного из отрядов) князя Вишневецкого, и княжны Елены; автор называет ее «пылкой украинкой», подчеркивая также душевное благородство и исключительную красоту героини. Молодой поляк и украинская девушка предстают идеальными героями, достойными друг друга. Даже в сопернике пана, казацком атамане Богуне (наделенном именем реального исторического лица), призванном сыграть по отношению к влюбленным роль злодея, автор выявляет внешнюю привлекательность, образец опять-таки «пылкой» украинской красоты; Богун смел, жесток, не скован моральными принципами, но никакой уничижительности, которую, как правило, несет негативный стереотип, в его характеристике нет. Говоря о короле, писатель неоднократно напоминает о его заботе, распространяющейся на всех подданных, так что Речь Посполитая как государство предстает гармоничным союзом поляков, украинцев, русинов. И только корыстный Богдан Хмельницкий стремится этот союз разрушить!

В итоге возникает своеобразный парадокс: очевидные патриотические устремления Г. Сенкевича, намерение дать трактовку исторических событий таким образом, чтобы создать у читателя благоприятное впечатление о политике Речи Посполитой, заставляют автора в известной мере противостоять воздействию массового сознания польского общества и рожденных им стереотипов.

Что касается закрепленного в литературе негативного образа поляка, увиденного глазами украинцев, то и здесь мы встречаемся с особой ситуацией — налицо стереотип не просто поляка, а *ляха*. Образ «ляха» одновременно и уже, и выразительнее, чем поляка, и имеет весьма примечательные коннотации — теологическую, социальную и историческую⁷. «Лях» — это католик, угроза православной вере, это представитель господствующих кругов, угнетатель, это давний враг, с которым всегда приходилось воевать.

Стереотип «ляха» мы находим в творчестве Т.Г. Шевченко, а также в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Заметим, что определение «лях» мы порой встречаем и в упомянутом романе Г. Сенкевича, но оно, как правило, вложено в уста сторонников Хмельницкого и отражает их точку зрения. Точно так же в повести Гоголя в восприятии Тараса Бульбы и его казаков, ведущих борьбу во имя мести «за посмеяние прав своих», «за оскорбление веры предков и святого обычая», «за угнетение», образ врага отождествляется с образом «ляха». Эпитет «польский» появляется, как правило, в тех случаях, когда характеристика ситуации, участников войны дается с позиции автора-повествователя, а также, если писатель обращается к коллизии, имеющей общечеловеческое содержание, например, к отношениям панночки и Андрия. Отец ее называется не «ляхом», а польским вельможей, а сама она *прекрасной полячкой*. При первой встрече будущих влюбленных, когда панночка смеется над обрызганным грязью юношей, возникает стереотипный мотив — «красавица была ветрена, как полячка», но в сцене тайного свидания во время войны, когда решается

⁷ Stereotypes and Nations. P. 132.

судьба влюбленных, когда автор, и восторгаясь, и грустя, раскрывает роковую власть любовного чувства над человеком, панночка предстает «безрасчетно-великодушной женщиной», воплощением красоты и обаяния.

Обратим внимание на последние страницы повести, где описывается, как «гулял» Тарас Бульба по всей Польше, как был взят в плен у Днестра и подвергнут мучительной казни. То отказываясь от использования стереотипного образа (при изображении гибели от руки казаков детей и женщин — «чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц»), то привлекая к нему наше внимание («Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапу» и «Попалась, ворона!» — кричали ляхи), писатель показывает нам трагический конфликт между запорожцами и поляками с разных точек зрения, выявляя и взаимную жестокость и мстительность обеих сторон, и извечную жестокость войны, и героическое, патриотическое начало, воплощенное в Тарасе, не пожелавшего отдать «ляхам» даже свою люльку и до последнего мгновения жизни продолжавшего борьбу.

Интересны случаи, когда писатель использует готовый, клишированный образ иностранца, но подчиняет его своим особым целям.

Вспомним тип англичанина, каким он сложился в русской литературе. Это мудрец и практик, хорошо знающий свою выгоду (песня «Дубинушка», «Левша» Н.С. Лескова). Но в большинстве случаев — человек холодный, рассудочный, предельно сдержанный, невозмутимый, умеющий отделить себя от окружающих стеной равнодушия и даже презрения («Дочь Альбиона» А.П. Чехова). Ряд этих качеств понадобился Достоевскому для того, чтобы в «Униженных и оскорбленных» показать драму прагматичного иностранца, основавшего свое дело в России, но преданного родной дочерью и не простившего ее, даже когда она жестоко расплатилась за свой поступок, вызванный доверчивостью и слепой любовью к негодяю. Писатель тонко обыгрывает «английскость» своего персонажа — господина Смита, гордо замкнувшегося в своем горе и презрении к недостойной дочери (к которой он спешит только в минуту ее смерти) и затем стойко переживающего собственную нищету, сохраняя в отношениях с окружающими холодность, сдержанность и подчеркнутое чувство собственного достоинства.

Иной вариант использования стереотипа дает роман «Братья Карамазовы». Вспомним ситуацию: Грушенька отвергает Дмитрия Карамазова и ставит его в известность, что она едет на встречу с бывшим возлюбленным, который теперь изменит ее судьбу. Этого возлюбленного автор изображает опять-таки иностранцем, поляком, широко используя негативный стереотип поляка, сложившийся в представлениях русских. Персонаж предстает воплощением спеси, надменности, скупости, холодной церемонности в обращении с Грушенькой, которая теперь, по контрасту, оценивает отвергнутого «Митеньку» — непосредственного, горячего в чувствах, искреннего, щедрого — и радуется его неожиданному появлению. Цель автора — отнюдь не в противопоставлении поляков и русских, а в изображении разного отношения к героине ее поклонников, разных **человеческих** типов поведения, столкнувшись с которыми Грушенька внутренне меняется; это вызывает ответную реакцию со стороны Карамазова и дает толчок к развитию сюжета. Внимание писателя сосредоточено на раскрытии образа Мити, а для изображения его предполагаемого

соперника он использует готовую уже «болванку», знакомый читателю стереотип. И исчерпывает этим коллизию — Грушенька и ее первая любовь.

Подобным образом в рассказе К.М. Станюковича «Куцый» сверхзадача автора связана не с выявлением различий национальных характеров русского капитана и старшего офицера — немца. Обыгрывание стереотипных представлений о немецком педантизме, культе дисциплины и порядка писателю потребовалось для того, чтобы донести мысль о важности на корабле прежде всего человеческих отношений между людьми, какое бы место в иерархии морской службы они ни занимали, о праве матросов на маленькие, обыкновенные радости, даже если эти чувства пробуждает у них приبلудный беспородный пес, «нарушающий дисциплину» на судне. Правда, как и в случае с образом поляка у Ф.М. Достоевского, нельзя не признать и определенной опасности, которая исходит от талантливого писателя, закрепляющего на страницах своего произведения тот или иной национальный стереотип, даже если последний подчиняется каким-то особым устремлениям автора.

Впрочем, не будем спешить с категоричными выводами об абсолютной несправедливости и опасности отрицательного стереотипа. При всем своем пристрастии, национальный стереотип, пусть и негативный, служит постановке острых нравственно-этических проблем, касающихся отношений между нациями и человеческого поведения в целом. Любопытны примеры, когда нация, приписывая тот или иной порок другой, в глазах третьей нации предстает носителем именно этого порока. Поляки с давних пор обвиняют русских в пьянстве. А между тем у французов существует поговорка «Пьян, как поляк»! Интересно замечание Чеслава Милоша, автора книги «Европейская семья» (1959): «Может быть, то, что поляки знают о русских, русские сами знают о себе, но не хотят этого принять. То же можно сказать и о другой стороне»⁸. Так мы выходим на проблему взаимодействия взглядов на нацию извне и изнутри.

В повести Джерома К. Джерома «Трое на велосипедах» вниманию читателя и персонажей — трех странствующих по Европе англичан — предлагается такая сцена. Во Франции специально нанятые актеры, затесавшиеся в уличную толпу, изображают путешествующего британца с дочерью *такими*, подчеркивает Джером, «как нас представляют на континенте»: оба в пробковых шлемах, с биноклем, в сапогах, со стеклом и независимым, надменным видом. Для английского писателя Джерома подобный образ британца вне всякого сомнения карикатурен. Но, с его точки зрения, демонстрация подобных карикатурных стереотипов (низеньких, толстых французов, пожирающих бутерброды с лягушками, непричесанных немцев с трубками в зубах, часто повторяющих «So!») была бы очень полезна для смягчения напряженности между государствами, поскольку ослабляла бы озлобление толпы, создающей образ врага: «...жажда убийства не может относиться к тому, кто смешон»⁹.

С этим нельзя не согласиться. Но вспомним и другое: образ англичанина, который Джером считает стереотипом-карикатурой, русскому писателю И.А. Гончарову, совершившему большое морское путешествие, представляется *подлинным, не вызывающим сомнения!* При этом Гончаров отмечает те же

⁸ Stereotypes and Nations. P. 154.

⁹ Джером К. Джером. Трое в одной лодке. Трое на велосипеде. Минск: Вышэйшая школа, 1993. С. 258.

детали внешнего облика англичан, бросающиеся в глаза почти в каждом морском порту: пробковый шлем, сапоги, стек, надменное выражение лица. Джером видит в этом забавный маскарад, Гончаров же связывает такую внешнюю оболочку с настоящей сущностью британца — завоевателя мира!

Налицо один из примеров того, как в процессе дискурсивной практики, в которой активное участие принимает литература, возникают различные модели поведения людей одной и той же нации, строящиеся на различных основах. Так, модель может складываться с учетом чисто внешних проявлений в поведении *другого* — каким он кажется «со стороны». Например, на основании наблюдаемых фактов русский человек сделал вывод, что британец лицемерен, хитер, ловко ведет тайные дипломатические игры («англичанка гадит»), сохраняя при этом приятную мину («британец ранит улыбкой»).

Для самих же британцев подобное поведение, которое определило их стереотип в глазах окружающих, имеет глубокие и весьма непростые внутренние причины, которые не замечает взгляд извне. Ссылаясь именно на особый психологический, непонятный другим склад своих соотечественников, строят модель их поведения английские писатели Д.Б. Пристли (эссе «Англичане») и Д. Фаулз (роман «Дэниел Мартин»).

Пристли говорит о свойственной английскому менталитету размытости границ между сознанием и подсознанием, о том, что, при всем своем рационально-логическом постижении действительности, англичанин опирается на чутье, и в том его непреодолимая двойственность, которая и кажется другим лицемерием и хитростью. «Одно дело — лгать в здравом уме и твердой памяти, — говорит Пристли, — другое — обманывать себя, не ведая, что творишь <...> Нелепо притворяться, что в нас вообще нет лицемерия — как-никак нам не забыть Пекснифа, но нельзя путать велеречивое, зрячее, намеренное притворство Тартюфа с туманной мешаниной, на которой зиждется английский самообман»¹⁰.

Сходную мысль высказывает Д. Фаулз, заявляя, что для его соотечественников характерно непрерывное сокрытие своей сути, постоянное несоответствие слова и мысли; он опять-таки усматривает в этом не лицемерие, а неуловимость, уклончивость английской души, в чем и заключается, по мнению писателя, внутренняя слабость англичан, их стремление к компромиссу из-за боязни сделать выбор.

Взгляд извне и взгляд изнутри сталкиваются в неразрешимом противоречии. Рискнем высказать «крамольную» мысль, что вряд ли они когда-либо сумеют полностью совпасть — всегда какая-нибудь черта, свойственная (или приписываемая?) той или иной нации, будет вызывать споры. И даже если удастся найти относительное согласие касательно «набора» тех или иных черт, характерных для данной нации, они всегда будут по-разному проявляться — в зависимости от места, времени, ситуации, в которых в данном случае будет раскрываться то или иное национальное «я».

Решающим фактором может стать и степень активности воспринимающего это чужое «я» чье-то *иное* сознание. Для проверки справедливости та-

¹⁰ Пристли Д.Б. Заметки на полях. Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1988. С. 380.

кой мысли обратимся к сопоставлению двух произведений разных авторов — уже упоминавшегося английского писателя Джерома К. Джерома и американца Марка Твена. Оба они совершили путешествие по Германии и отразили свои впечатления в книгах, различных по жанру: Твен написал объемистый путевой очерк «Пешком по Европе» (1880), включающий в себя большой пласт исторических и научных фактов и вместе с тем фантастические и гротескные ситуации, пародии на романтические легенды, страницы откровенного ёрничания; а Джером создал наполненную юмором повесть об уже известных персонажах — Джее, Джордже и Гаррисе, которые ранее выступали как «Трое в одной лодке», а теперь — как «Трое на велосипедах» (1900). Правда, это русский вариант названия. В оригинале автор использует немецкое слово «Bummel» («Three men on the Bummel»), которое якобы было придумано немецкими студентами для обозначения веселого, бездумного времяпрепровождения, бесцельного бродяжничества.

Примечателен интерес обоих авторов к одним и тем же сторонам жизни немецкого общества — это, например, быт и нравы студентов, среди которых постоянно происходят кровавые дуэли; это отличная от стран с развитым рынком немецкая манера продавать товары, это специфическое отношение жителей к природе. И в том и в другом произведении много говорится о добросовестности немцев, их дисциплинированности, пристрастии к порядку. Однако речь об этом каждый из писателей ведет по-своему, что объясняется их различной исходной позицией и различной степенью национального самосознания.

Марк Твен занимает позицию любопытного, но не очень глубокомысленного путешественника, который бросает на окружающий мир скользящий взгляд, отмечая скорее внешние черты нового для него мира. Налицо проявление к жизни другой страны скорее этнографического интереса, который уравнивает в восприятии наблюдателя жизнь людей и разных тварей — птиц, насекомых. Так, поведение муравьев, проделки соек и связанные с ними забавные ситуации автор описывает с той же увлеченностью и так же выпукло, обстоятельно, как ведет рассказ о нравах немецкого студенчества. При этом в описании дуэлей, в психологических реакциях рассказчика на изображаемое у Твена преобладает сосредоточенность на общечеловеческом начале, на тех эмоциях, которые свойственны людям вообще: наблюдая за поединком, даже жестоким, испытываешь азарт, зато смотреть на врачевание ран в перевязочной неприятно. Своего рода общечеловеческие качества, которыми могут быть наделены люди любой нации, выявляются и при изображении муравьев — эти насекомые, по мнению автора, не сильны и не трудолюбивы, зато способны водить наблюдателя за нос. Полемический задор, проявляющийся у Твена в пересмотре традиционного суждения о муравьях, у Джерома как раз присутствует при описании студенческих дуэлей в Германии. Мы сразу ощущаем здесь не этнографический интерес путешественника, а пафос отторжения — это *не наше*, это *чужое!*

Проблема национальных различий между людьми занимает и Твена. Он не раз повествует о том, как в дороге или во время остановки, наблюдая разных незнакомцев, он сам и его спутник пытались угадать их национальность. Немцев всегда определяли по их вежливости и склонности постоянно кла-

няться. Любопытно, что когда рассказчик перенял эту манеру у местных жителей, его сразу же стали принимать за немца. Значит ли это, что проблема национального своеобразия связана у Твена только с внешними различиями людей? Автор такого вывода не делает, но какого-то иного подхода в его книге не обнаруживается.

Для рассказчика в произведении Твена характерна определенная пассивность сознания — он довольно редко задерживается на мысли о своем прибытии из *иного мира* — само соотношение «своего» и «чужого» не содержит для него психологической остроты. Конечно, Твен порой набрасывает портреты соотечественников, с иронией подчеркивая их чрезмерную самоуверенность, бесцеремонность, а также выделяя их деловитость и практицизм; последние качества оцениваются то положительно, то, если они проявляются чрезмерно и опять-таки бесцеремонно, осуждаются и высмеиваются (вспомним известный эпизод, когда американец сделал красочную надпись, рекламирующую товары, на священной для немцев «горе Шиллера»). Однако нигде мы не встречаем попыток путешественника, при столкновении с чем-то иным, новым взглянуть и в самого себя; осознание рассказчиком своей инаковости связано лишь с регистрацией каких-то *чисто внешних отличительных черт одежды и поведения*.

Противоположную позицию, как уже было вскользь замечено, занимает рассказчик в повести «Трое на велосипедах». Для него характерна подчеркнутая острота восприятия того, что он наблюдает и активно не приемлет в Германии. На первый план выдвигается проблема порядка и того, как он проявляется в практической жизни и менталитете немцев. Комические жанровые сцены, изображающие жука, устыженного тем, что он выполз на траву, а не использует выход из сквера по дорожке (его тут же поправляет зритель!), или приключения Джорджа, ставшего жертвой жестких железнодорожных правил, рассказ о распределении тропинок в парке в соответствии с полом, возрастом и другими особенностями проходящих через парк людей, — все эти эпизоды подчинены стремлению рассказчика (а, следовательно, и автора) увидеть за внешними, даже забавными приметами чужого быта и поведения нечто глубинное, установить цепочку причин и следствий. Так раскрывается внутренняя связь между аккуратностью немцев, чистотой в быту и вызывающим скуку прилизыванием дикой природы. Восхищаясь моральной выдержкой немцев, способностью даже детей к самоконтролю, причем и в те минуты, когда за ними никто не следит, рассказчик в то же время подчеркивает, что понятие долга, порядка у немцев отождествляется с постоянной готовностью следовать предписаниям извне, вплоть до табличек в парке, указывающих, на какой вид смотреть, а главное — со слепым повиновением любым обладателям «блестящих пуговиц».

Черты «рабства» в судьбах молодых и даже совсем юных немцев отмечает и Марк Твен, но он ограничивается рассуждением о том, что тяжесть этих испытаний компенсируется их пользой: подчиняясь дисциплине, немецкие мальчики получают хорошее образование, что является залогом их продвижения по службе в будущем. Джером же ищет объяснение психологии немца и всего уклада его жизни в историческом прошлом Германии: не один век она посылала своих сыновей наемниками в чужие армии, вот почему в их

плоть и кровь ввелся дух «солдатчины», вечная «способность к выправке» — цитирует Джером Карлейля¹¹. Не раз повторяя, что «немцы — хороший, добрый народ», отмечая, что «тевтонская раса», как и англосаксонская, процветает — «значит, в обеих системах есть истина»¹², Джером не скупится и на жесткие характеристики: «Свобода воли и личности не искушает немца: он любит, чтобы им управляли»¹³.

Итак, в повести «Трое на велосипедах» сквозь общий шуточный тон повествования и пристрастие автора к изображению комических ситуаций явственно проступает центральная проблема произведения — это проблема национальной идентичности немцев, интерес к которой подпитывался в начале XX века недавним объединением Германии, ее победой во франко-прусской войне и быстрым, решительным выходом на европейскую арену в сфере политики, экономики и культуры. Заметим, что до Первой мировой войны в год появления книги Джерома оставалось не так уж много — четырнадцать лет!

Четкость и решительность в определении сущности «среднестатистического немца», как автор повести ее понимает, соответствует столь же активному его стремлению осознать свою национальную идентичность, свой взгляд на мир «с англосаксонской точки зрения». В реализации этой точки зрения проявляется известный психологический феномен: не принимая каких-то черт в образе жизни «другого», человек, в данном случае создатель повести «Трое на велосипедах», ищет некий «противовес» в самом себе, в своих соотечественниках, идеализируя их и конструируя любезный его сердцу «стереотип». При этом возникает впечатление, что Джером уже осведомлен о сложившемся мнении об англичанах как о людях сухих, педантичных, деловитых, склонных к предрассудкам. И он стремится на примере своих героев — трех безалаберных, беспечных, часто попадающих впросак друзей — это мнение разрушить. В качестве доказательства используется и уже знакомая по другим произведениям фигура дядюшки Поджера, и продуманная цепочка противопоставлений, претендующих на обобщение.

В Германии полицейского никто не смеет задеть, ибо он священен, как брамин, зато английский полицейский даже в ответ на прямое оскорбление остается невозмутимым — вот почему дразнить его просто неинтересно. Даже мелкие пороки, невинные шалости в Германии наказываются, в Англии же к ним относятся снисходительно. Немцы с легкостью подчиняются любым запретам, а для жителей Северного Альбиона нарушение запретов является чуть ли не любимым хобби: «...для среднего здорового юноши британской крови развлечение только тогда доставит удовольствие, если оно связано с нарушением закона»¹⁴. Таким образом, быт и нравы и в целом общественный уклад Англии предстают в трактовке Джерома бесконечно свободными, предполагающими неограниченное волеизъявление личности, широту моральных оценок и полное отсутствие каких-либо сковывающих человека правил и условностей!

¹¹ Джером К. Джером. Трое в одной лодке. Трое на велосипеде. Минск: Вышэйшая школа, 1993. С. 326.

¹² Там же. С. 327.

¹³ Там же. С. 324.

¹⁴ Джером К. Джером. Трое в одной лодке. Трое на велосипеде. Минск: Вышэйшая школа, 1993. С. 270.

Категоричность подобных самооценок, утверждение явно сомнительного стереотипа англичан и английского образа жизни порождают сомнение и в созданном на страницах повести Джерома стереотипе «среднестатистического немца». Правда, нельзя не признать, что, рисуя такой стереотип и задумываясь о будущем немецкого государства, писатель оказался пророком, хотя и сформулировал свою мысль достаточно наивно: по его словам, «тяжелое время» для Германии «настанет, когда испортится главная машина», т.е. когда не будет «хороших правителей»¹⁵.

Тонко уловленные автором черты немецкого обывателя — умение только либо подчиняться, либо командовать, но неспособность без воздействия извне самоопределиваться внутренне — получили, как известно, дальнейшее осмысление уже в литературе XX века, исследовавшей психологические корни фашизма. Вспомним Зигфрида Ленца, создавшего в романе «Урок немецкого» образ полицейского, который без поручения не чувствовал себя человеком и очень любил в то самое «тяжелое» для Германии время рассуждать о «радости исполненного долга». По горячим следам, вскоре после свержения фашизма был написан роман Робера Мерля «Смерть — мое ремесло» — о коменданте концлагеря, снимавшем с себя всякую ответственность, поскольку он, убивая тысячи людей, «выполнял приказ».

В этих персонажах, как и в образах сотрудника секретной миссии США во Вьетнаме Олдена Пайла («Тихий американец» Грэма Грина), бывшего работника НКВД товарища Полуболотова («Ночной дозор» Михаила Кураева), запечатлен тип *человека-винтика системы*, сформированного накаленной социально-политической атмосферой и обезличивающими тенденциями цивилизации XX века. Всем им свойственны духовная слепота, неспособность критически оценить свои действия и ту модель общественного поведения, в которую они включены. Интересно проследить, какие оттенки в образ человека-винтика системы вносит представление каждого автора о национальной идентичности данного персонажа, представление о том или ином национальном стереотипе: немца — у француза Р. Мерля, американца — у англичанина Г. Грина; что касается З. Ленца и М. Кураева, то они оба пишут о своих соотечественниках, но также опираются на стереотипные представления.

Полицейский Йенс Оле Йепсен в романе З. Ленца и комендант концлагеря Рудольф Ланг в книге Р. Мерля объединены уже знакомой нам по Джерому психологией немецкого обывателя, но разработанной более тонко, подержанной целенаправленной системой воспитания в имперской и нацистской Германии (это особенно ярко раскрывается французским писателем).

В раскрытии образа Пайла можно обнаружить любимый Грином мотив: противопоставление *идеи*, некой *завершенной концепции* — в данном случае «тихий американец» реализует на практике выгодную США теорию «третьей силы» в бывших колониях — и *живой жизни*; последняя, по Грину, всегда дисгармонична и невероятно сложна, неспособна вписаться в узкие рамки любой теории. В то же время эта любимая Грином коллизия «теория, политическая формула — реальная жизнь» органично сочетается в романе с утверждаемым автором стереотипом американца — всегда уверенного в себе,

¹⁵ Там же. С. 327.

прагматичного, выше всего ставящего интересы своей страны и убежденно-го, что только он отстаивает идеал свободы и демократии и что во имя этого идеала можно и нужно жертвовать чужими жизнями.

Подобным образом — духовно оболваненным, как Пайл, готовым слепо выполнять любой приказ, как Йенс Оле Йепсен и Рудольф Ланг, — рисует своего персонажа и Михаил Кураев. Но в облике Полуболотова, работника НКВД, производящего аресты и ведущего допросы (об этом персонаж вспоминает спустя много лет, являясь уже стрелком ВОХР), нашли отражение и представления автора о русской национальной идентичности. Очевиден намек на широту русской природы, сочетающей в себе противоречивые и нередко взаимоисключающие качества: жестокость у Полуболотова, порой кака-то простодушная, не отрицает и неожиданных проявлений доброты и даже чуткости (дает арестованному по дороге в тюрьму послушать соловья); косность души, невежество сочетаются с жадным интересом к знаниям (которые он жаждет почерпнуть у подсудимых, заставляя их по ночам рассказывать о своей профессии, раз уж они не хотят признаваться в предъявленных обвинениях). Воплощая в себе жестокую власть и силу и упиваясь ею, он восхищается теми, кто сумел обмануть карающую руку, порой искренне сокрушается о «неосторожном народе», о тех, кто «лишним словом» навлекает на себя наказание, не умеет схитрить, увернуться. Сам он не прочь, когда можно, «схалтурить» и обмануть начальство. В этой позиции Полуболотова в какой-то мере отразился исторически сложившийся в России «синдром убегающего от власти», что резко отличает его от немецких «сподвижников»...

Превращение индивида в «винтик» политической системы — лишь один из вариантов обезличивания, «стирания человека» (Д. Оруэлл), ставших горестной приметой XX века и едва начавшегося XXI. В упомянутых произведениях Кураева, Грина и других «национальная окраска» служит не только для художественной выразительности центральных образов, но и ставит вопрос о моральной ответственности государственных режимов, политических курсов, а главным образом — отдельного человека, в какой бы стране он ни жил. Вместе с тем возросшая у современных людей тяга к осознанию своей национальной идентичности, пусть даже в ограниченных рамках стереотипа, выступает одновременно и реакцией на обезличивание человека, и своеобразным оружием в противоборстве с этой бедой, в том числе и при участии литературы. Но это тема уже другого, более развернутого разговора.